

Юрий Дружков

Кто по тебе плачет

Серия «Самое время!»

Роман «Кто по тебе плачет» — единственное «взрослое» произведение Юрия Дружкова, знаменитого детского писателя, автора Самоделкина и Карандаша. Он писал его «в стол». Двадцать лет спустя вынул роман из стола сын писателя, тоже детский писатель, Валентин Постников. Звучит невероятно, но двадцать лет выдержки пошли роману на пользу — сегодня у него больше шансов оказаться не заслоненным горами примитивной приключенческой макулатуры, быть внимательно прочитанным и, главное, понятым. Почву к этому прочтению подготовил, как ни странно, популярнейший телесериал «Остаться в живых». опередив время, Юрий Дружков словно подарил телевидению острый сюжет, захватывающую интригу, парадоксальную развязку. Но в этой «крутой» романной упаковке кроется философская притча со щемящей интонацией личной драмы...

юрий дружков

кто по тебе
плачет



Первая тетрадь

Объявили посадку на триста восьмой...

Вылет задерживали с половины дня. Как всегда в этих случаях бывает, в огромном зале аэропорта мы невольно заметили друг друга по случайным словам, похожему поведению, другим пустяковым, но выразительным приметам. Дорожные горемыки легко угадывают в гаме вокзала себе подобных и постепенно собираются кайры в условленное место в группе незнакомых людей, у которых общее — билеты на «триста восьмой», «девятый», «десятый»...

Корю себя за то, что был рассеян тогда и невнимателен к ним. Но разве можно все предвидеть? Память показывает мне будничную суету. Память... Хочу остановить ее, каждого из них остановить, крикнуть: подождите, послушайте меня, дайте мне по-другому посмотреть на вас... И я ничего не могу изменить...

Молодая мама с ребенком. Небритый монгол, или киргиз, или калмык. Старушка с мягким платком на плечах, вся такая мягкая, добрая, улыбчивая с виду, что иначе как бабушкой не хотелось ее называть. Непонятный человек в серой шляпе. Из тех, о которых можно подумать, что угодно и ничего не угадать. Помню, как удивила меня его локаторная способность, не глядя, чувствовать мелькнувшую на расстоянии любую заметную женщину. Он обязательно провожал ее глазами, чтобы затем вновь уткнуться в газеты, с которыми не расставался ни на минуту.

Несколько молодых людей, разных по внешности, но похожих неуловимо, как бывают похожи те, кто вырос в небольшой деревне или служил в одной части. Они играли в карты на подоконнике, не обращая внимания, что рядом, какой-то возбужденный до предела высокий гражданин все время заглядывает в рукав и стучит носком ботинка о пол.

Юные студентки, двое военных, японец, увешанный аппаратами, один железнодорожник — мы все околачивались в районе буфета в ожидании, пока, наконец, невозмутимые динамики нас позовут.

Молодая привлекательная женщина терпеливо стояла в очереди к буфету. Вроде не красавица, как мог бы сказать о ней мой хороший приятель, мог сказать и добавить: а глаз не

отведешь. Вроде бы не красавица в хорошо отлаженных синих джинсах...

Вокруг не было ни одного свободного места. Я заметил ее сразу и подумал: буду сидеть, пока не подойдет ее очередь, а потом встану и... Самое забавное, мне почему-то казалось, она понимает — ее ждут. Очередь подошла, я встал, даже кивнул вежливо и слегка. Она улыбнулась мне, будто в самом деле сказала: вы ждали меня, спасибо.

Эта в другом самолете, — подумал я. — В Санкт-Петербург, Киев или Ригу... Она летела вместе с нами...

Объявили посадку на «триста восьмой».

Небритый монгол, мягкая бабушка, возбужденный до предела высокий гражданин, молодые люди, среди которых в последнюю минуту появился новенький в зеленой ковбойке, мама с ребенком, юные студентки, непонятный человек с газетами, военные, железнодорожник, японец, увешанный аппаратами, женщина вроде бы не красавица — мы вошли в самолет, не зная в то мгновение, что каждый мог и не войти в него.

Мы вошли в самолет. В нем душно и тесновато, уютно и не очень удобно для тех, кто не любит нудного и долгого лежания в кресле, тем более, когда подвижная лестница не двигается, не уходит от нас, и никто не приглашает застегнуть ремни, хотя входная дверь уже была закрыта.

Возбужденный до предела высокий гражданин застучал носком ботинка о пол. Через каждые пять минут он заглядывал в кожаный рукав. Молодые люди, с новым энергичным своим товарищем, начали играть, спокойно играть в карты на черном «дипломате». Около меня сидел погруженный в газету непонятный человек, а рядом с ним, у бежевой гладкой стены — японец. Увешанный футлярами, он что-то снимал в иллюминатор маленькой журчащей кинокамерой.

По салону прошел в хвостовую часть пилот, на ходу ответил кому-то: не волнуйтесь, летим, скоро летим. Но мы стояли, а подвижная лестница не двигалась.

— А я всё думал, когда начнутся эти штучки. Они, пожалуйста, начинаются, — удивил меня своим неожиданным басом непонятный человек отрываясь от газеты.

— Какие штучки? — ответил я, поскольку слова были сказаны явно для меня.

— Вы не читали газет?

— Не успел.

— Такое творится, вы не читали!.. Эти восточные хулиганы соседей бьют. Война самая настоящая. Танки, ракеты, сорок дивизий... Наши, думаете, смотреть будут, как друзей колотят?... А там и Хабаровск недалеко. Вот и поспею к началу... Хо-орошенькому началу.

— Не дай бог, — повернулась в нашу сторону бабушка. Улыбки на ее лице не было.

— А что, вполне, — заметил железнодорожник. — Если наши начнут, не наши этим воспользуются. Пульнут под шумок, будто совсем не они, мы в ответ, и пошла поехала...

— Еще как, — добавил непонятный сосед.

— Стоит ли без толку паниковать? — не отрываясь от карт, негромко попросил энергичный парень в ковбойке. — Напугаете, газету бояться начнем.

Возбужденный до предела высокий гражданин сказал вдруг непонятно кому:

— А ну их к чертовой матери!

Снял сверху свой кожаный чемоданчик и побежал к дверям пилотской кабины, застучал в нее резко и требовательно. Вышла стюардесса.

— Откройте мне.

— Пожалуйста, не волнуйтесь, мы скоро летим.

— А я не хочу с вами лететь! Откройте немедленно.

— А не пожалеете? — улыбнулась девушка.

— Не пожалею, открывайте...

Он прыгнул в распахнутую для него дверь, единственный.

— Какой грубиян, — это бабушка досадливо махнула рукой.

Мы пристегнули ремни. От лайнера укатила подвижная лестница.

Молоденькая стюардесса назвала себя, назвала фамилию пилота, город, куда мы летели, пожелала доброго пути...

Мне кажется, я помню всех, кто был в нашем длинном салоне, очень длинном салоне, мягком и сером от беленых чехлов на креслах, от мягкого света окон, от приглушенных разговоров и шелеста газет. Но я летал не один раз и никого никогда не помнил, а вернее просто не замечал.

В этом салоне я помню всех. Помню плечи, затылки вдали от меня, помню даже сумки, чемоданы в клетках над головами. Память моя помимо воли моей хочет населить наш полет необычным, не таким сухим и будничным, как все это было на самом деле. Словами значительными, движениями значительными. Я не могу это сделать, не могу ничего придумать, но я помню их особую неповторимость. Я помню

всех.

Стюардесса. У нее девичьи плавные руки, отменная походка, движения, стать, привлекающие к себе локаторные взгляды моего соседа по креслу... А впрочем, он обо мне, вероятно, то же самое думает.

— А? Какие ходят? — негромко заявил о себе, а вернее начал искать, контакта со мной для долгой утомительной дороги мой сосед. И ко мне долетел слабый коньячный туман.

— Летают, — сказал я не очень дружелюбно.

— И летают! — непонятно чему обрадовался он. — Да и летают...

Она успокаивала небритого человека, с виду похожего на монгола, но потом оказалось, урожденного северянина, который оглядел салон, обошел его сначала из конца в конец, а теперь не спешил пристегивать ремни.

— Дочка, — сказал он, переделывая Ч на С, — как же так? Где моя машина?

Что «машина» можно было только догадываться. Он говорил Ш как С.

— Смотрю, нигде машины. Где машина?

— Пожалуйста, не волнуйтесь, я вам объяснила, машина летит с нами. Сядем, получите вашу машину, — улыбалась стюардесса.

— Я не вижу, — он еще раз оглядел багажные полки, — нет машины. Деньги платил, большие платил.

— В багажнике твой автомобиль, — пошутил кто-то невидимый. — В багажнике. Мог бы сам на нем ехать к тундре своей.

— У меня стирка машина, белье стирать, — обиделся неугомонный. — В детский сад белье стирать.

Мой сосед неожиданно булькнул, посмотрел на меня так, словно я понимаю, как ему весело.

— Эти наивные самоеды... На трапе он приставал к девчонке: где машина, покажи машина.

— Бывает, ну и что?

— Все бывает... У нас вот анекдот рассказывают... Один чукча купил машину для печатанья денег. За десять тысяч. Повернешь ручку — десятка, повернешь — другая. Накрутил себе тысячу, а машина вдруг отказала. Чистая бумага пошла. Он и так и этак, ничего. Развинтил машину, а там один бумажный рулон. Машина была стиральная. Жулики приспособили...

В самом деле, смешно.

Салон, озвученный мягким ровным гудом, показалось

мне, словно потянулся от напряжения всеми своими переборками, обшивками, ребрами, задрожал от натуги, вдавливая в кресла наши непрочные тела. И вдруг обмяк, завис облегченно в упругой невесомости.

Ну что же, наконец, летим...

— Привыкнуть не могу. Летаю миллион раз и всегда жутковато, — заметил мой разговорчивый сосед. Как ни крути — высота. Никто не гонит, а время — деньги... Хорошо гудит, уверенно гудит. — Он кивнул, в сторону окна, туда где солидно и надежно белело на солнце неколебимое крыло. Будто гуденье шло от этой крепкой уверенной в себе неподвижности.

Духота сменилась летучей прохладой. Ожили, начали двигаться, притихшие было, такие разные попутчики.

— Только лететь бы нам в другую сторону, — сказал он, — а то в самое пекло угодим, к началу...

На дорожку салона вышел, а вернее спрыгнул с кресла маленький мальчик и пошел по упругому коврику, оглядывая всех нас веселыми глазами.

Он остановится около меня, загадал почему-то я. Малыш в самом деле остановился рядом.

— Летим? — наклонился я к нему.

— А мне совсем не страшно, — сказал мальчик.

— И мне тоже не страшно.

— И маме не страшно, — сказал мальчик.

— Она у тебя храбрая?

— Нет, она добрая.

Молодая привлекательная женщина, вроде бы не красавица, повернулась к нам.

— И красивая, — подмигнул сосед. — Видишь, мама волнуется, беги к ней.

Мальчик оглянулся.

— Это не моя мама, — громко сказал он, и женщина улыбнулась ему.

— А я бы не стал отказываться, — откровенничал сосед. — Подумай сначала, такая мама всем подойдет.

— Вы умеете надувать шарики? — спросил у меня мальчик.

— А ты не умеешь?

— Он очень крепкий.

Мальчик протянул мне сморщенный голубой мешочек.

— А шнурок у тебя есть?

— У меня есть нитка от катушки.

Он показал мне спутанную белую нитку.

— Настоящий мастер никогда не станет наддувать шарик с ниткой, — поглядел на мальчика парень, играющий в карты чуть позади нас, видно, главный в своей компании.

— Вот видишь, я мастер, а шнурка у нас, кажется, нет, — сказал я.

— Передай мастерам этот замечательный крепкий шнурок.

Парень вынул шнурок из ботинка, скинутого на пол, и подал его приятелю, который стоя тоже играл в карты.

— А сам как пойдешь? — удивилась бабушка, привычно и уютно расположенная в самолетном кресле, как на домашнем диване.

— Гулянки мои кончились. Мне сапоги приготовлены...

Я надул шарик, перевязав его подаренным шнурком, и подал мальчику.

— А мама не могла, — похвалил меня мальчонка, и подкинул шар.

Он скрипнул о потолок синим боком, полетел в сторону, там его шлепнули снова к мальчику, но шар полетел не туда, куда надо. Началась небольшая, но довольно шумная сидячая кутерьма-погоня за голубым шариком.

— Иди к нам, — позвал мальчика парень, играющий в карты. — Я тебе дам апельсин. У меня их две сетки, один ящик и один в кармане. Вот.

— Как бы этот ящик тебе на голову не плюхнул. На бок завали, войдет, — подала совет улыбчивая бабушка.

— Он мягкий, — ответил парень, — фрукты спружинят.

Мальчик потопал к нему, обняв руками свой шар.

— Иди, учись, бубны козыри, — съязвил сосед. — картинки тебе покажут.

— Не надо ему так, — попросил я. — Громко вы... Не надо... И женщины обидятся.

— А что я сказал обидного? — поднял брови сосед. — Вот ее, предполагаемую, как выяснилось, ошибочно, маму, — сосед кивнул в сторону молодой женщины, — громко назвал красивой. Ну и что? Вы заметили, как она улыбулась?...

Почему тянет меня так подробно сказать о нем, о чукче с машиной, о стюардессе, о мальчике с голубым шаром, обо всех остальных, веселых или хмурых, усталых или бодрых, пожилых или молодых? Каждое необязательное, пустяковое слово, движение, взгляд, поступок — всё это будет кому-нибудь на свете нужно. Кому?

— Таким словам ни одна баба не обидится... Хотя, между нами говоря, если б кто знал, как невыносимо скучно иметь

при себе постоянно только лишь красивую женщину и больше ничего, — добавил непонятный человек с газетами.

В салон вошла стюардесса. На легкой тележке она везла кофейный дымок и все, что к нему полагалось. Чуткие глаза моего соседа повернулись к ней. Стюардесса подошла к нашим креслам. Он взял у нее поднос, подчеркнуто элегантно, едва заметно склонив голову.

— Чья коробка с апельсинами? — заметила девушка. — Поправьте, пожалуйста, пока не упала кому-нибудь...

Парень встал и начал двигать коробку. На мой взгляд, она покоилась надежно и крепко, но входила на две трети, выдаваясь над креслами оранжевым боком.

— Кто проиграет, — сядет на это место, — предупредил парень.

О чем я думал в те минуты? Кажется, ни о чем...

О снежно-серых облаках, настеленных бесконечно от края до края над лесами, дорогами, поселками, над которыми, наверное, летели мы, не видя ничего на такой огромной высоте, ничего кроме ощутимой тверди облаков. О небе, открытом на все четыре стороны света, о небе, где никогда не бывает ни единой тучки, они лежат на земле. Облака не для неба, они для мокрой темной земли...

Я никогда не летал в такую даль, поэтому сначала меня удивила непринужденность, с какой мой сосед скинул с ног ботинки. Он вытянул ноги, опустив газету на колени, блаженно зевнул и закрыл глаза. Я посмотрел вокруг. Парень, игравший в карты, соединил свои полуботинки одним шнурком, привесил их к сиденью, а когда заметил, как я гляжу на его приготовления, подмигнул мне:

— Иначе убегут. Однажды я левый ботинок по всему салону искал.

— Непутевые твои ботинки, — сказала ему бабушка, — в хозяина подкидного. Такие же непутевые.

— Чем я вас обидел, мамаша? — улыбался парень.

— Сказали тебе, подвинь ящик, а ты упрямый.

— Да я за ними два часа в очереди стоял, больше видеть их не могу, не то что шевелить.

— Зачем тогда покупал?

— На семечки.

— На семечки? Апельсины? А, сажать в огороде надумал, шутник?

— Посею там, где одни медведи живут, в тайге.

— Непутевый.

Бабушка сидела в мохнатых серых носках. Шлепанцы она

завернула в газету и положила их себе в кресло.

Японец лаковые свои ботинки не снял. Я поглядел осторожно, так, чтобы он этого не заметил. Потом я увидел ее ноги, обутые в туфли ноги молодой женщины, а может быть и девушки в синих джинсах. Трое нас, обутых на весь лайнер, пришел я к весьма глубокому наблюдению. Она, японец и я. Уже небольшая обособленная каста не разуваемых.

Настала очень долгая тишина, если она, может быть, тишина — в замкнутом гудящем от внешнего могучего напряжения, салоне. Окна становились как бы черными зеркалами, темнея с каждой минутой, вбирая в себя отражения сонных людей, свет неярких плафонов над ними, создавая рядом такой же, летящий в пространстве, одинаковый с нами салон, и только блики на крыльях иногда выдавали, что это нереальный, зыбкий, невесомый, как тень, мираж. Ночь летела навстречу нам с востока, а мы торопились навстречу ей.

Вдруг на дорожке посреди салона я увидел маленький детский ботинок. Он притаился на ковре, смешно подняв вверх ремешок, похожий на хвостик, и смотрел на меня черным глазом-пуговкой, будто убежал от своего хозяина и теперь боялся, как бы его не поймали, подкрадывался ко мне, помахивая ремешком или хвостиком. Вибрация заставила его скользить по мягкому зеленому ворсу.

Я едва удержался, чтобы не сказать ему «кис-кис», таким выглядел он живым и веселым этот маленький рыжий ботинок, похожий, наверное, на своего хозяина. Я даже протянул руку, чтобы слегка погладить рыжий бочок, или хвостик, или просто прикоснуться к нему. И неловко, нелепо замер, забыв отвести руку. Молодая женщина, склонив голову, смотрела на меня и на этот озорной ботиночек и улыбалась мне, ему, нам. Все вокруг спали, а мы, почти против друг друга, улыбались неизвестно чему, а хвостик подрагивал и буквально спешил убежать от нас в темный угол, под мягкое кресло.

Она счастливо засмеялась, опустилась перед ботиночком совсем у моих ног, взяла его в пригоршни, как настоящего котенка и отнесла туда, где спал на руках у матери маленький отважный мальчик. Я видел только его безмятежную макушку, смешной хохолок на ней, похожий на взъерошенный хвостик.

Мой сосед поднял голову, будто прислушиваясь к ровному гулу моторов.

— Гудит, — сказал он, потягиваясь, — хорошо гудит.

— Усыпляет.

— И пускай себе, лишь бы гудел, пока в небе. Никогда не забуду одну злую шутку... Да... сели ночью в Томске. Я на променад не вышел, а рядом один уснул. Открывает глаза, тишина, самолет пустой, дверь открыта. В чем дело, спрашивает. А я брякнул, как ударил: падаем... Вспоминать совестно. Валидолом отходился, бедняга...

Он поник, укрытый газетой, как пледом, и снова надолго оставил меня в покое.

Высота. Почти безмерная высота. Как она потаенно вбирается и холодеет внутри каждого из нас от взгляда на черную мистику, окон, алые блики на крыльях, тонкие стены, тонкий потолок и дрожащий пол под нами...

... Когда моему мальчику было три года, он попросил меня подняться вместе с ним на последний этаж дома, в котором он живет со дня своего рождения. Коренные первоэтажники, мы вошли в тесный лифт, как в настоящую космическую кабину, огляделись вокруг, не торопясь, нажали кнопку, стали подниматься выше, выше, выше. Я чувствовал, как замирает в руке моей ладошка мальчика, идет от нее ко мне живое волнение, самый начальный восторг высоты.

Рано ему, подумал я. Чего доброго сам начнет бегать к лифту и котенком гулять по карнизам-перилам. Я хотел найти какую-нибудь причину, остановить лифт, отложить путешествие, но малыш так потянул меня к себе, столько было в нем благодарной живой радости ко мне, виновнику восхождения, предводителю экспедиции, что я засмеялся и выпрямился, широко поставив ноги, как ставит их, наверное, кто-нибудь на палубе корабля.

Мы открыли дверь на общую лоджию, шагнули прямо к синему обрыву, мальчонка замер, не понимая, как стали вдруг игрушечными, далеко внизу, огромные троллейбусы, дымные самосвалы, бывшие совсем недавно такими сердитыми великанами. Над маленькой улицей плыл по каналу-ручейку маленький теплоход, а за этим каналом белело, синело, сверкало солнечными блестками-окнами нескончаемое Тушино со всеми своими домами, деревьями, башнями, трубами. Ветер летел отовсюду: сбоку, сверху, снизу. Я поднял, взял его на руки, ошеломленного мальчика, будто не доверяя шальному ветру, летучей высоте, а мальчик мой вдруг обхватил меня, единственного, кто был привычным и надежным в этом улетающем неизвестно куда пространстве, и сказал такое, что на миг оледенило самое сердце во мне.

— Папочка, а ты не бросишь меня?

Я прижал его к себе, содрогаясь от нежности.

— Что ты, маленький мой? Что ты... что ты... что ты? — бормотал я.

Первое путешествие, первое открытие высоты, сияния. Открытие света и первое ощущение возможного или невозможного предательства. Мальчик мой...

...А самолет между тем висел, казалось, неподвижно в плотном и черном. И только ровный гул передавал ощущение полета. Гудит, вдруг сказал я сам себе словами соседа, хорошо гудит...

...И даже теперь, один на один с листом белой бумаги я чувствую, с какой неохотой, с какой тягостью берусь я написать о том, что было с нами потом, как откладываю от одной строчки к другой, сделавшее меня седым, воспоминание...

Сначала в окнах, одно мгновение, был ослепляющий невыносимо яркий алый свет. Мы окунулись в него, и крошечный вселенский грохот ударил по всем жилкам и ребрам нашей хрупкой машины, бросил ее вбок или вниз, или обратно, или вперед, или в разные стороны мгновенно, я не мог понять, куда, не мог понять, кто закричал так страшно: все мы сразу или сам аппарат от металлической ломающей боли.

Но стихло так же быстро, как все это случилось. Нигде не потрескались, не смялись, не разлетелись, не лопнули крошечном тонкие стены, пол и потолок. Стекла чернели по-прежнему холодно и непроглядно. Испарина туманила их. И только следы от капель змеились, текли по ним, как черные стеклянные трещины.

Мой сосед ошарашено трогал смятое о переднее сиденье лицо. Плакал испуганный мальчик. Салон гудел встревоженными голосами.

— Канальи! Все-таки шлепнулись на мою голову ни много ни мало десять килограммов.

Это сказал парень, игравший в карты, поднимая коробку с апельсинами обратно в металлическую сетку. От его слов, от уверенного голоса, буднично обыкновенных движений одного человека стало почему-то спокойнее. Люди опускались в кресла, поправляя прически, одежду, отыскивая ботинки.

— А я думаю, откуда гром такой, — съязвила бабушка сиплым, не своим голосом. — Бог тебя наказал.

— Что это? — белыми непослушными губами спросил мой сосед. — Я спал... ремни, дурак, отстегнул...

— Наверное, молния, грозовая туча, — сказал я. — Все обошлось. Гудит, слышите?

— Верно, гудит...

В салон вошла стюардесса, очень спокойная с виду, но теперь мне кажется, у нее было тогда совсем другое неузнаваемое лицо.

— Пожалуйста, пристегните ремни.

— Для чего? — не выдержал кто-то, выкрикнул нервно.

— Чтобы я за вас не беспокоилась, — ответила девушка. — Сделайте мне приятное.

— А как же гром?

— На то и небо, чтобы гром.

Я заметил ее руки. Они были сцеплены у самой груди на форменной курточке.

— Товарищи, нет ли среди вас медика? — спрашивала тихо девушка, приближаясь к нам. — Нужен врач.

— Это я, — поднялся большой полный человек.

— Пожалуйста, пройдите со мной, — попросила девушка и, не оглядываясь, ушла.

Ушла навсегда...

— Кому-то плохо, — пожалела в соседнем ряду бабушка. — Тряхнуло не дай бог...

Не сразу дошло до меня, что начал говорить в то мгновение молчаливый наш японец. Он встал, руки у него дрожали, губы дрожали, смешивая в кучу, в неразбериху японские, английские слова.

— Не понимаю, говорите спокойнее, — сказал я на моем слабеньком английском языке.

— Radiation! Very high radiation!

— Who told you so?

— This one... Do you hear it ticks?

Он дал мне свою коробку, неприятно задев меня дрожью. Коробка тикала, как часы. Японец надавил кнопку над креслом. На зов никто не пришел. Он снова резко придавил кнопку, и опять никто не вышел из двери, за которой остались доктор и девушка. Меня трясло.

— Sit down, please; She'll come out... Children don't cry nowadays, and you... [\[1\]](#)

Он встал и мимо нас прошел к дверям служебной кабины.

— Что с ним? — спросил сосед. — Машинка сломалась?... У него их много...

Я не ответил.

Больше никогда не полечу... никогда не полечу... никогда не полечу... никогда... никогда... Успокаивал я сам себя.

— Должен быть Омск, а проводница не думает выходить, — сказал неуверенно железнодорожник.

— Это было двадцать минут назад, — посмотрел на часы парень, игравший в карты.

— Что было? — не понял железнодорожник.

— Омск.

— Надо вызвать ее!

— Не надо, сама придет. Им видней.

— Как это не надо?!

— Вы что, никогда не опаздывали?...

Мой сосед поднялся, протиснулся поближе к окну, принял лицом и руками, смотрел в черное, в то, что было вокруг нас и под нами, потом сел на место.

— Ни огонька не видно, — посетовал он. А туч уже нет... Река блеснула... пустыня... тайга... Тут не только садиться, пролетать жутковато.

— Кто вам сказал?

— Вот это! Слышите, как он щелкает?

— Сядьте, пожалуйста. Выйдет она... Дети уже не плачут, а вы...

Время летело, кажется, быстрее нас. Прошло еще двадцать минут, и было тогда ровно двенадцать часов пятьдесят одна минута по московскому времени...

Мы вдруг ощутили, услышали, узнали всеми своими живыми клетками раздирающую боль тишины, такое, что было страшнее грома, чему никогда, никогда, никогда не должно было случиться. Он больше не гудел. Кто-то за черными окнами, сильный, добрый, уверенный, постоянный умолк! Он больше не гудел. Он больше не гудел... Только тут я почувствовал, как мы летим, как стремительно, как высоко и страшно мы летим! Потянуло из кресла вон: поплыть в невесомости, легко, совсем легко, пуховым небьющимся телом, повиснуть, подняться, парить...

Куда мы летим?...

Салон закричал. Ничего нельзя было понять и осмыслить. Я видел туманно лица людей, видел орущий рот моего соседа.

— Молчать! Я сказал, не орать! — гремел над всеми срываемый в ярости зычный голос. — Пристегнуть!..

На губах у него синела пена.

— Пристегнуть и сидеть на месте каждому! — в стихающем гуле командовал он, умиряя непостижимую стихийную панику.

Я сумел увидеть, как японец, далеко впереди, лег на пол и накрыл голову руками, лицом вниз.

— Господи, боже мой, — стало слышно, как причитает совсем негромко чья-то бабушка. — Не увижу... не увижу внука. Так и не увижу внука... господи...

Маленький мальчик, обхватив ручонками шею, плечи, голову матери, спрашивал ее, повторяя:

— Мамочка, мы не погибнем? Не погибнем? Скажи, не погибнем? Правда, мы не погибнем?

— Что ты, маленький мой, — так же повторяла, говорила и говорила мама, — никогда, никогда, никогда, солнышко мое, никогда, никогда... — Прижимая к себе легкое, ненаглядное, невесомое, неохватимое тельце.

От этих слов, знаю, от этих слов замерли, застыли, онемели в тишине взрослые люди, сколько их было тогда в салоне. Только шепотом сказали позади меня:

— В хвосте безопасней...

Парень, игравший в карты, ответил ему неразличимо тихо:

— В гальюне всего одно место. Нас больше... Не робей, хуже не будет...

Я никогда не познаю тишины более святой, чем эта, недолгая, короткая до муки, последняя тишина.

Ударило что-то в хрупкий металл под нами. Скрежетом, гулом и свистом наполнило весь обетованный, милый неповторимый единственный земной угасающий навеки белый свет... Была и не стала вдруг — слабой крыши над головой... Сдираемая, унеслась надежная такая прежде стена, швыряя, бросая нас одних в последний полет, в груды бешенных, каменных, вздыбленных, яростных в озлоблении кресел...

* * *

...Даже наедине с открытой тетрадью, спустя немало дней после падения самолета, кажется мне, я не сумею вдохнуть полной грудью...

Кладу ручку на стол, поднимаю голову, заливая себя таким доступным, незаметным, послушно обязательным живым воздухом. И опять, как тогда, не могу надышаться. Не могу забыть последнее желание: во что бы то ни стало вдохнуть. Сначала вдохнуть. Набрать, вырвать жадно, глубоко, до хруста в груди, влить в себя каплю воздуха, одну маленькую живую каплю воздуха. Но вселенная в ту минуту вся была из холодного и зыбкого, слепящего как туман, где

невозможно что-нибудь ощутить рукой, не то, что встать, некуда лечь и некуда подняться, где не осталось для меня, совсем не осталось воздуха. Плывучий, гиблый, неутолимый, проклятый мир без капли воздуха. Я поплыл в нем, больше ни о чем не думая, ничего не желая, но руки мои вдруг ощутили сами собой уже без меня, совсем без меня, что это плывущее холодное зыбкое — простая вода. Земная, мягкая, плотная, живая, бьющая в лицо вода. И воздух над ней. Целое море воздуха для меня...

Я давился им, кусал и глотал, боясь не поймать, потерять, заливаясь этим сладостным воздухом, плача, как ребенок, плача от мысли, в которой было всего лишь одно сияющее слово... Спасенье...

Живые силы вернулись ко мне. Я плыл, уже тогда понимая, как мне повезло, понимая, что это не река, не огромное сибирское озеро, и берег поэтому не может быть очень далеким, и кончился для меня тот нереальный, как сон, полет, или паденье. Или...

Над головой светлел еще не синий день, блеклое небо, чистое, успокоенное, просительно доброе, чуть голубело над лесным берегом.

Вот он, берег! А там люди, живые люди, в сухих надежных домах почта и телефон, и билеты в надежный уютный скорый поезд. И постель, где можно будет вытянуться, уснуть и забыть, отвести немного от сдавленного сердца, мучительный озноб.

А вода была на удивление теплой, как в жаркий день. Я направился к берегу и вдруг увидел плывущего неподалеку человека.

— Эй! — крикнул я, — э-эй!

Пловец не ответил. Но, кажется, повернул в мою сторону, плавно покачиваясь на воде, не погружаясь и не поднимаясь от взмаха рук. Еще на расстоянии, совсем не различая, кто плывет вместе со мной, вдруг я подумал, заметил, почувствовал, мне показалось: человек этот плачет судорожно и горько. Плачет на воде, вдали от берега. Потом я разглядел такое, что ледяными судорогами отозвалось, прошло по всему телу. Маленький детский, такой знакомый голубой шар, охваченный крепко, неотъемно человеческими руками.

Я поплыл сильнее, резче, поплыл туда, где пятнышком синел на блеклой воде неутолимый кружок.

Это была женщина, та самая вроде бы не красавица, которую мой сосед называл предполагаемой мамой. Она

дрожала в теплой воде, губы кривились по-детски. Мокрые волосы плыли, текли по ее лицу и плечам. А руки обнимали невесомую прозрачную щемящую голубизну.

— Девочка, — сказал я сдавленным горлом, — деточка... не надо... не плачь...

Кажется, я говорил и про то, что берег еще далеко, силы стоит беречь. И про волосы, которые надо отлепить от глаз. Мы плыли рядом. Я почти нес ее, такую же невесомую, как этот маленький упругий поплавок. Но довольно скоро почувствовал, как обманчива ее невесомость и сколько надо усилий, чтобы нести на руке ослабевшую женщину.

Она заметила, как мне трудно, волной ушла, качнулась от моей руки.

— Он двоих удержит... возмись тут... я больше не буду реветь, — всхлипывала она.

Мы плыли к берегу. Подул ветер. Но свежесть воды сменилась вдруг едким запахом керосина. Левее нас по глади озера липкой спиралью змеились радужные полосы, блики, сплетенья, круги.

Я увлек ее в сторону, как можно дальше от липкой настигающей мертвой дуги.



На берегу она попросила меня уйти от нее за густую опушку леса и не возвращаться, пока все наши нитки до последней высохнут на солнце. Я пошел в лес. Он поднимался круто, упруго, дерево за деревом, на большую гору или сопку, так, наверное, здесь их называют. Ноги в мокрых носках больно кололись о такую неудобную для хождения лесную землю. Все-таки я пожалел носки, снял их, потопал босым, осторожно переступая, чтобы не попасть на какую-нибудь уж очень злую колючку или корень, отыскивая глазами открытую для солнца прогалину.

Лес оборвался неожиданно, как удар. За мягкой лесной поляной деревья склонились, поникли в одну сторону, вниз к воде. Спутанные кроны далеко наверху, от самой вершины сопки, падали к озеру точно смятые, срубленные в одну прямую линию, четким провалом в зеленой свежести леса. Покореженная, свернутая, как фольга, блестела в них обшивка самолета. Сломанные руки ветвей держали, несли по этой последней дороге пожухлый металл, остатки металла, ужас, крики, мою неутихающую боль.

А внизу, в конце жуткой просеки плыла по озеру, тянулась душная керосиновая магия. Мертвая в тусклых пунцовых бликах вода на живой озерной воде.

Я упал на траву и долго лежал мокрый, утопая липом, руками, дыханьем, телом в мятном дремотном лесном благе.

Потом я выложил из карманов куртки все, что в них было, выкручивал одежду и развешивал ее на ветках. И спал абсолютно голый все на той же благословенной траве. Потом проснулся от мерного и громкого тиканья. Рядом со мной в траве лежал мокрый паспорт, с мокрой вложенной в него командировкой, бумажник с мокрыми деньгами, расческа, платок, связка ключей с брелком вроде ножичка, смешная картинка, нарисованная моим сорви-мальчугом, сухая, потому что, в один прекрасный день я запечатал ее в целлофан и всегда брал ее в дорогу. Мок сухие водонепроницаемые неударяемые часы. Но тикали не они. Их не было слышно. Тикал маленький черный прибор, оставленный погибшим японцем. Тикал резко и внятно.

Черт бы ее побрал, эту коробку! Она щелкала ритмично и ровно, как мое, в конце концов, не очень могучее, совсем не спокойное сердце. Я больше так не могу. Невыносимо для меня. Много в один единственный день... Как ее понимать? Все вокруг, и лес, и трава, и мятный воздух, и руки мои, глаза мои, тело мое пропитаны, пронизаны пунцовой невидимой погибелью?... Но когда? Сколько минут или дней у меня осталось?...

Между тем я чувствовал, как сон освежил меня. Лес по-прежнему звучал вокруг живыми голосами. Я довольно крепко стоял на земле, очень по-земному хотелось есть. Я видел и слышал, дышал и думал, я жив, я крепок. И не хочу знать никакой радиации. Важнее теперь сочинить приблизительные хотя бы шлепанцы. Наши ботинки утонули. А придется, кто знает, сколько шагать по этому лесу, пока не встретишь людей, пока не придут они сюда...

Посмотрел бы кто-нибудь на меня, когда я голым неандертальцем шныряя по лесу, отыскивал подходящее дерево. Лапти, конечно, лапти... Сколько лет я живу на земле, исходил, изъездил ее, истоптал груду ботинок, не помышляя о том, что когда-нибудь мне придется натужно вспоминать, как делают эти необыкновенные лапти.

Моя покойная бабушка, у себя в деревне, очень хорошо плела корзины и лапти. Когда маленьким ребенком я бывал у нее летом в деревне, она просила меня подавать ей вымоченные прутья для корзин или такие же лыки, березовую

Конец ознакомительного фрагмента.
Для приобретения книги перейдите на сайт
магазина «Электронный универс»:
e-Univers.ru.